



Тот, кто был и остаётся лириком-классиком по своим способностям «уловлять впечатления», стихотворной строкой будоражить фантазию, воспоминания и мечты – то есть, по модному слову XIX века, всячески «электризовать» нервного и восприимчивого к поэзии читателя, сообщал в письме своему другу Ивану Тургеневу, впоследствии ставшему врагом, а под старость опять почти другом: «Сию минуту уронил крышку тяжёлого железного сундука на безымянный палец левой руки, и дело очень некрасиво...» И рядом, через несколько строк, о столь же жизненном, понятном им обоим, о сочинительстве: «Литература – да к тому же современная, не к ночи будь помянута!.. носит в себе ужасное зло, порождая Weltverbesserer-ов (радетелей о благе мира). Она вечно порывается быть носительницей чего-то!..»

Афанасий Фет, родившийся два столетия назад, известен в довольно крайних воплощениях. Он доказательно назван и реалистом, и романтиком, и реакционером, и импрессионистом, и предтечей «школы новейших поэтов, известных под именем декадентов». Фет стал поэтическим маяком поколений, ему посвящали и посвящают свои стихи и рассуждения не всегда дружные и часто непохожие на него люди искусства. Брюсов «мог проводить целые часы, повторяя про себя фетовские стихи». Бальмонт утверждал, что Фет (как и Тютчев) «живёт в вечности». «Он очень дорог мне...» – сказал о Фете Блок.

Для многих современников Фет был «трудно определяем» и по масштабу таланта, и по предмету интереса (военный служака, деятельный помещик, мировой судья, камергер, литератор, философ и поэт). Контраст не принципиальный, но в пору затухания поэзии требовалось всё-таки не увилывать, а определиться и быть «носителем чего-то».

\* \* \*

Литература часто питалась этим «чем-то», затем продуцировала его, опасно сплетаясь с политикой, а в XIX веке уже была решительной «носителем» новых идеалов – и шла по этому пути с невиданным, нарастающим энтузиазмом, ускорением и упорством. Нужная русскому веку литература становилась жёстким ремеслом. Она постепенно приближала обе революции и веские аргументы «вождей народов», обращалась к ниспровергателям, а пространные романы были тогда хороши, если их основные идеи могли уместиться на формате листовок.

Искусство двигалось к самоотрицанию и к презрению «эфирных оттенков чувств», ко всем чувствам, красота и оттенкам вообще – кроме моноцвета железного манифеста отрицаний – «Чёрного квадрата» и социально-яростной и скучной, как серый цвет подвалов Петропавловки, патетики Чернышевского.

Фет остался верен консервативной строгости и упорядоченности стародворянского быта, а также «блаженной сфере» и «звукам праздничного чувства жизни», как не без щегольства писал в обстоятельной статье его шурин – очеркист, литературный критик и эпикуреец Василий Боткин.

Панегирик поэту составлен именно так, как можно описывать творчество Афанасия Фета и в наши дни, если читать его не очень внимательно и, главное, не перечитывать. Там есть соразмерные дару Фета («импровизатора») определения, но есть и не к месту «галантерейное». «Когда душа современного человека погрузилась в мертвящие вопросы об удобствах матерьяльного своего существования, когда так часто слышатся или стоны, или клики пресыщенного эгоизма... – в это время является поэт с невозмутимую ясностью во взоре, с незлобивою душою младенца...» – местами рассуждения Боткина о стихотворениях Фета похожи на прощальную речь.

Спустя годы поэтом тоже восторгались, но и ругали беспощадно. Фет стал материально благополучен, относительно счастлив при «естественных тяготах» брака, зачислен «по дворянской линии». Победили фетовские упорство и принцип: чиновники разобрались в его смутном происхождении, Фету было разрешено «принять фамилию ротмистра А. Н. Шеншина» и получить права потомственного дворянина, его имя внесли в родословную книгу орловского дворянства.

В последний путь до родового имения Фет ушёл по-пушкински, в метель, однако в камергерском облачении (по своему желанию). Никчёмный мундир остался на нём, словно для контраста с «величием замысла» и «этим озабоченным, неземным выражением всего облика». По праву и знанию хорошего и давнего друга Софья Андреевна Толстая усилила диссонанс, положив на «шутовской наряд» пышную живую розу, с которой его и похоронили.

Поэт с «незлобливой душой младенца» на склоне лет был толстоват, «с бородой до чресл – с какими-то волосяными вихрами за и под ушами», как писал о нём в пылу ссоры и отрицания Иван Тургенев. Да и по дружбе многие, как тот же Тургенев, видели его персонажем с малозаметным, почти условным, налётом комичности: «...бородой вперёд бегаете туда и сюда, выступая Вашим коротким кавалерийским шагом... Пари держу, что у Вас на голове всё тот же засаленный уланский блин!..» «Чтоб посмешить меня, он надел на себя судейский мундир – действительно, в нём он очень забавен» – Фет был иногда способен святочно перевоплотиться.

Афанасий Фет был остёр на язык и, по характеристике критика и публициста Николая Страхова, «неистошим в речах, исполненных блеска и парадоксов». Друживший и подолгу беседовавший с Фетом Лев Толстой одно время считал его самым умным из всех своих знакомых и с наслаждением слушал фетовские «закурдялены».

Фет так мычал и тянул слова, что не всем хватало терпения его дослушать, а также порой изрекал благоглупости, например, про кипящий самовар и милую хозяйку, «с которой могу провести приятный вечер», как достаточное условие своей жизни в Москве.

Но не парадоксы-«закурдялены», регалии и обязанности мирового судьи (их исполнял добросовестно много лет, исходя из «ясного и честного здравого смысла»), камергерский ключ, хлопоты по хозяйству и прочая возня приводили в движение чудесный поэтический механизм, «поэтическую безалаберщину», без которой его давно бы позабыли, – было задействовано что-то тайное, данное по рождению.

\* \* \*

Спутать двух разных Фетов (Фета с Шеншиным) легко. Если начать читать (впервые и случайно) знаменитое стихотворение, обращённое к Александре Бржеской: «Далёкий друг, пойми мои рыдания...», можно не дотерпеть, не прочесть до конца, где одно из самых точных и удивительных в поэзии (и самых кратких – хотя тут вместились и христианство, и Кант, и мечта о бессмертии души, и мотив «потерянного рая») описаний загадки человека:

...Не жизни жаль с томительным дыханьем, –  
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,  
Что просиял над целым мирозданьем,  
И в ночь идёт, и плачет, уходя.

Когда стихам Фета дают малоуважительные в литературном плане характеристики, то одна из причин именно в том, что масштабное у него очень часто перемежается с малым. Разновеликое перемешано небрежно, и это граничит с несерьёзностью.

Фетовские «лазури», «жемчуга» и «малюток» не стоит рассматривать пристально, хотя критический соблазн велик, а лучше вынести их за скобки, оставив главное: «...Сияют небеса, нетленные, как рай. / Далёко выгнулся земли померкший край...»

Только в мире и есть, что тенистый  
Дремлющих клёнов шатёр.  
Только в мире и есть, что лучистый  
Детски задумчивый взор.

Только в мире и есть, что душистый  
Милой головки убор.  
Только в мире и есть этот чистый  
Влево бегущий пробор.

Без незначительного подлеска очевидных (или кажущихся) поэтических ошибок нет и естественной природы стихов Фета.

\* \* \*

Увидеть в молодом Афанасии Фете его истинное поэтическое естество было несложно; уже в студенческие годы многие из «поколения Григорьева» видели его дар достаточно отчётливо, а Яков Полонский давал ему на суд свои стихотворения. «...Юный Фет, бывало, говорил мне: "К чему искать сюжета для стихов; сюжеты эти на каждом шагу, – брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты..."»

Спустя десятилетия тот же Полонский отправил 70-летнему старику Фету письмо, полное вопросов: он не мог понять, откуда такой накал лирического настроения, где спрятан Фет-двойник, «человек, окружённый сиянием, и окрылённый». «Ты состарился, а он молод! Ты всё отрицаешь, а он верит!»

Чудеса стихосложения и способность замечать всюду лирические сюжеты Фет по-хозяйски уместил в одной корзине с упрямой обстоятельностью и способностью то жить, то выживать в условиях многообразных и второстепенных «мелочных забот».

Сначала было длительное безденежье и «армейщина» («Всё нужно, всё необходимо, а где его взять?.. Даже гадко толковать об этом») и дружеское посвящение удальцов 13-го драгунского полка: «Ах ты, Фет, / Не поэт, / А в мешке мякина».

Потом Фет решил заняться помещьем, и «сел на землю», и получил всеобщее одобрение, включая яснополянского барина, и оправдал его надежды – да, из него вышел отличный хозяин.

Казалось, пропадёт он для поэзии, ведь «точно в пирог себя запёк» (Тургенев).

\* \* \*

Но из пирога то и дело вылетал жаворонок!

На листок, где «излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек» (Лев Толстой), пристраивалось поэтическое и философское слово: «Пусть мчитесь вы, как я, покорны мигу, / Рабы, как я, мне прирождённых числ, / Но лишь взгляну на огненную книгу, / Не численный я в ней читаю смысл. / ...Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной / Ты думы вечной догоняешь тень; / Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный / К тебе просился беззакатный день. / Вот почему, когда дышать так трудно, / Тебе отрадно так поднять чело / С лица земли, где всё темно и скудно, / К нам, в нашу глубь, где пышно и светло».

«Он сам, конечно, хорошо сознавал, что носит в себе эту тайну, и часто выражал её очень странными речами. Он говорил, что поэзия и действительность не имеют между собою ничего общего, что как человек он – одно дело, а как поэт – другое», – объяснял раздвоение Фета Николай Страхов. Однако был ли сам Фет в этом стопроцентно убеждён?

Постепенно обретая плохую репутацию «солидного bourgeois и мелкого человека», заявляя, что нечего помогать нуждающимся литераторам и учёным, что литература способна быть забавой или отрадой и «некоторым подспорьем», но не синекурой, дорассуждался и до того, что обидел «кухаркиных детей», поддержав Каткова.

Суетился на стройке, на молотье и ругал бестолковых нерадивых работников, желая при этом всё же когда-нибудь «вздыхнуть свободно от трудов в очаровательном имении». Следуя по этой дороге, сближался со своим двойником-Шеншиным и подписывался невзрачным помещичьим именем: «По литерат. фамилии моей в наст. время письмо и не дойдёт, чему я очень рад, т. к. людям не нужна моя литература, а мне не нужны дураки».

\* \* \*

Конечно, суровый Толстой, в конце концов, устал от его «болтовни» и фермерской деятельности, привязанности к житейскому, а вот если бы из них обоих «истолочь в одной ступе и слепить потом пару людей» – была бы славная пара. Диковинный Фетошеншин в этом фантастическом направлении никак не совершенствовался и вопреки знаменитому приговору бывшего друга Тургенева («Как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию») и всем его едким оценкам (включая «телячьи мозги» за строфу «Не знаю сам, что буду петь...») оставался самим собой.

Как и многочисленные собеседники и адресаты, пристально его изучавшие, охладевшие к нему или настроенные дружески, Фет рассуждал о своём, присматривался к себе, пытался понять сам себя и, невольно оказавшись «носителем чего-то», до самых последних дней поднимал «поэтическое чело» к звёздам для собственного душевного успокоения.

Поэт не затерялся в своём «очаровательном имении», даже камергерский мундир его не раздавил – а это было бы неприятнее ругательств идейных противников. В стихотворчестве случались длительные перерывы, однако – «глядь, опять пыхнет огонёк».

\* \* \*

«Но очерк головы у ней так чист и тонок...»

Мощная сила пережитой любви стала для Фета одним из главных источников его шедевров, лирических фантазий – а также завидного поэтического долгожительства.

«Ты сомневаешься в моей способности плакать, – пояснял он Якову Полонскому. – Отчасти ты прав; я два раза в жизни терял всё состояние, потерял даже имя, что дороже всякого состояния, терял самых дорогих для меня людей, начиная с матери, и я ни разу не плакал. Но стоит только Амуру, не шутя, задеть меня своим крылом, как я готов разлиться слезами. Я не оправдываюсь, я только заявляю факт».

Видимо, искренность чувств, потрясения, с ними связанные, сделали из Фета вечно влюблённого, десятки лет пребывающего в таком блаженном состоянии – но не всегда в действии, которое он в стихотворении «Странное чувство...» 1847 года назвал менее важным, а кто думает по-другому – «не видит ни зги».

Фету негде было бы поселиться с дочерью отставного генерала Марией Лазич, стать она его женой, но ведь с ней было самое настоящее, «задушевное сближение». В злую минуту на Марии вспыхнуло кисейное платье, когда она прилегла с романом и папироской в руке после уроков с младшей сестрой, девушка бросилась в сад – что, конечно же, не спасло. Вот так любовь поэта в буквальном смысле превратилась в пепел.

С Александрой Бржеской он познакомился ещё 25-летним, держал её в поле своего поэтического зрения всю жизнь, до её вдовой жеманной старости, до прощания: «Мы встретились вновь после долгой разлуки, / Очнувшись от тяжкой зимы; / Мы жали друг другу холодные руки, / И плакали, плакали мы». Однако многие адресованные «бедной затворнице» мелодичные строки были явно сильнее и глубже, чем банальные излияния сердечной переписки. Отнюдь не под образом располневшей Александры Львовны и не в память её мужа вспыхнул факел, «воссиявший над целым мирозданием».

\* \* \*

Лирическая фантазия или реальная любовь Фета – это чувство к недостижимому, хрупкому и дорогому, реже – любовь до озноба, как и у Тютчева, его «обожаемого поэта». После смерти Елены Денисьевой (Фет примчался к нему после первого зова) Тютчева «лихорадило в тёплой комнате от рыданий», и он с головой укрылся каким-то тёмно-серым пледом, «из-под которого виднелось только одно изнемогающее лицо».

Любовь, исчезнувшая в невесёлых даях, любовь бегущей в сад полыхающей Марии Лазич с её последним ужасным криком: «Sauvez les lettres!» («Сохраните письма!»)...

\* \* \*

...Холодно, ясно, бело,  
Дрогнуло птицы крыло...

(«На рассвете», 1886)

Фет старился и одновременно был до неприличия молод – не только в стихах, что было бы обманом, а по своей сути. В 65 лет так написать мог только нестареющий Фет:

Я тебе ничего не скажу,  
И тебя не встревожу ничуть,  
И о том, что я молча твержу,  
Не решусь ни за что намекнуть...

Эйфория пожизненной влюблённости (предметная и беспредметная) делала его долгожителем, вечным поклонником душистых локонов, молодых и чистых взоров и сопутствующих им вёсен – Толстой недаром ждал от Фета обязательных «весенних стихов» – «у вас весной поднимаются поэтические дрожжи, а у меня восприимчивость к поэзии».

...И сердце, пленник зимних вьюг,  
Вдруг разучилось сжиматься...

Несмотря на очевидные замашки консерватора и ретрограда, Фет, так же как весну, легко, поэтически воспринимал всякое обновление жизни, не только свежую листву, но даже новые механизмы: «Злой дельфин, ты просишь ходу, / Ноздри пышут, пар валит...» («Пароход»).

Приближаясь к неизбежному порогу, он постепенно «застывал, как земля осенью», однако и в 70 лет констатировал: «Покуда на груди земной / Хотя с трудом дышать я буду, / Весь трепет жизни молодой / Мне будет внятн отовсюду...»

Чайковский считал, что Фет «в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией» и часто напоминает Бетховена, но не Пушкина, Гёте, Байрона или Мюссе. «Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченными пределами слова».

\* \* \*

Фет осуществил свой идеал – «жить в прочной каменной усадьбе». Но как поэт каменной усадебной ограде придавал не слишком большое значение. Перешагивал через неё, чтобы полюбоваться на весенний сад или на звёзды, не боясь одиночества, близкого и родственного поэзии.

На стоге сена ночью южной  
Лицом ко тверди я лежал,  
И хор светил, живой  
и дружный,  
Кругом раскинувшись, дрожал.  
Земля, как смутный сон,  
немая,  
Безвестно уносилась прочь,  
И я, как первый житель рая,  
Один в лицо увидел ночь...